

(1794)

Если лучшие мгновения жизни совпали для меня со временем, когда я старался проследить метаморфозу растений, когда ее последовательность наконец уяснилась мне и это открытие одухотворило мое пребывание в Неаполе и Сицилии, если я с каждым днем научался все больше любить именно такой способ наблюдать за миром растений и неустанно упражнялся в нем на всех путях и перепутьях, то эти радостные усилия стали для меня бесценными лишь оттого, что послужили поводом к отношениям, составившим мое счастье уже в более поздние годы. Дружбой моей с Шиллером я обязан именно этому совпадению обстоятельств, устранившему те недоразумения, которые долгое время не давали мне сблизиться с ним.

По возвращении из Италии, где я стремился прийти к большей определенности и чистоте во всех областях искусства, не задумываясь о том, как в это время обстоит дело в Германии, я обнаружил, что большую популярность и значительное влияние там приобрели более и менее новые поэтические произведения, но, увы, такие, которые внушали мне отвращение: назову хотя бы «Ардингелло» Гейнзе и Шиллеровых «Разбойников». Первый был мне ненавистен за то, что чувственность и путаный образ мыслей силился облагородить и подпереть ссылками на пластические искусства, второй — за то, что он, обладатель могучего, но незрелого таланта, излил на свое отечество бурный, стремительный поток именно тех этических и театральных парадоксов, от коих я старался очиститься.

В вину обоим этим одаренным поэтам я не ставил того, что они задумали и совершали: не может человек запретить себе действовать на свой лад; сначала он бессознательно пытается это делать по неведению, затем, на каждой ступени своего образования, все сознательнее, потому-то так много прекрасного и нелепого распространяется по свету и сумятица порождает сумятицу.

Однако шум, который поднялся в нашем отечестве, успех, выпавший на долю этих ублюдочных творений, — как у неистовствующих студентов, так и у просвещенных придворных дам, — поначалу испугал меня, ибо мне подумалось, что все мои усилия пошли прахом и то, к чему и как я стремился, парализовано и ни для кого уже не представляет интереса. Но наибольшую боль мне причиняло то, что все духовно связанные со мной друзья, Генрих Мейер и Мориц, а также художники Тишбейн и Бури, продолжавшие работать в моем духе, находятся под угрозой; я был совершенно подавлен. На изучении пластических искусств, на продолжении поэтических трудов я уже готов был поставить крест, если бы это было мыслимо, ибо я не видел возможности превзойти упомянутые творения, отмеченные гениальностью, но дикие по форме. Представьте же себе мое состояние! Я старался взлелеять и сообщить другим чистейшие воззрения, а сам оказался зажатым в тиски между Ардингелло и Францем Моором.

Мориц, тоже вернувшийся из Италии и некоторое время живший под моим кровом, вместе со мной страстно отстаивал наши общие убеждения. Я избегал Шиллера, который, теперь жил в Веймаре, по соседству со мной. Вышедший в свет «Дон Карлос» не мог примирить меня с ним; все попытки людей, одинаково близких и ему и мне, примирить нас я отклонял; так мы и жили один возле другого, не общаясь.

Его статья «О грации и достоинстве» также не могла меня с ним примирить. Он с радостью принял Кантову философию, которая так высоко ставит субъект, хотя и сужает его значение. Эта философия развивала то исключительное, что природа вложила в его сущность, но он проявил неблагодарность к Великой Матери, хотя она обошлась с ним отнюдь не как мачеха. Вместо того чтобы понимать ее как нечто единое, закономерно порождающее все живое, от низшей его ступени до наивысшей, он рассматривал ее под углом малого числа свойственных человеку эмпирических воззрений. Мне казалось, что иные резкие его выпады целят прямо в меня, искажая мой образ мыслей. При этом я чувствовал, что было бы еще хуже, если бы они относились не ко мне, ибо гигантская пропасть между нашими воззрениями обозначилась бы еще отчетливее.

О сближении нечего было и думать. Даже мягкие уговоры самого Дальберга, по достоинству ценившего Шиллера, остались безрезультатными, к тому же и основания, которые я противопоставлял любому сближению, нелегко было опровергнуть. Кто станет отрицать, что между двумя антиподами по духу — расстояние больше, чем длина диаметра, проходящего через земной шар, ибо они оба являются полюсами и уже поэтому никогда не могут совпасть. Что между ними, однако, существует известное соотношение, явствует хотя бы из следующего.

Шиллер переехал в Йену, где я опять-таки с ним не встречался. В это время Батц, благодаря своей невероятной энергии, основал Общество естествоиспытателей, обладавшее отличными коллекциями и новейшей аппаратурой. Я обычно присутствовал на регулярных заседаниях этого Общества. Однажды я встретил там Шиллера; случилось так, что мы вышли одновременно, завязался разговор. Шиллер, видимо, был заинтригован докладом, но весьма разумно и рассудительно; я не мог с ним не согласиться, он заметил, что такой расчлененный подход к природе не может завлечь дилетанта, сколько бы тот этого ни хотел.

Я отвечал, что он и посвященного-то, пожалуй, оттолкнет, а ведь к природе можно подойти и по-другому, не расчленяя ее, не рассматривая отдельные ее куски, но попытаться, живую и действенную, представить ее себе, идя отдельно к отдельным частям. Он пожелал точнее узнать, что я под этим подразумеваю, но своих сомнений не скрыл и не верил, что это утверждение я основываю на собственном опыте.

Мы дошли до его дома, наша беседа заставила меня войти. Я быстро посвятил его в свои мысли о метаморфозе растений и несколькими характерными штрихами набросал для него символическое растение. Он слушал и всматривался в мой рисунок с большим вниманием, проявляя недюжинную способность все схватывать на лету, но когда я кончил говорить, покачал головою и сказал: это не опыт, а идея. Я оторопел, признаться, несколько раздосадованный, ибо пункт, который нас разделял, здесь непреложно обозначился. Утверждение из «Грации и достоинства» снова пришло мне на ум. Старый гнев во мне уже закипал, но я взял себя в руки и ответил: мне-де очень приятно слышать, что у меня есть идеи, о которых я даже не подозревал и которые вижу собственными глазами.

Шиллер, куда более благоразумный, чем я, да и более сдержанный, скорее хотел привлечь меня к «Орам», которые собирался издавать, чем оттолкнуть; он отвечал мне как образованный кантианец, а поскольку я упорствовал в своем реализме, то и дело возникали поводы для пылких возражений; итак, мы сражались не жалея сил, потом наступало перемирие; ни один из нас не мог считать себя победителем,

так как каждый был уверен, что его одолеть невозможно. Сентенции, вроде нижеуказанной, делали меня положительно несчастным: откуда взяться опыту, который был бы равноценен идее? Ведь своеобразие последней в том и заключается, что опыт никогда не совпадает с нею. Если он считает идеей то, что я называю опытом, то между тем и тем должно же существовать нечто посредствующее, связующее! Но первый шаг тем не менее был сделан. Притягательной силы в Шиллере было предостаточно, он крепко держал тех, кто к нему однажды приблизился. Его супруга, — я еще девочкой любил и уважал ее, — со своей стороны, немало способствовала нашему дальнейшему взаимопониманию, друзья обеих сторон были довольны; итак, несмотря на никогда до конца не утихающий спор: объект или субъект, — мы скрепили союз, длившийся всю нашу жизнь и принесший много доброго и нам и другим.

После такого счастливого начала в продолжение десяти лет нашего общения с Шиллером мало-помалу развивались философские задатки моей натуры; в этом я и попытаюсь отчитаться по мере возможности, хотя основные трудности, думается мне, не могли не броситься в глаза каждому, кто был в курсе происходящего. Люди, которые с высшей точки зрения смотрят на спокойную надежность человеческого разума, врожденного разума здорового человека, не решающегося размышлять о предметах, об их соотношениях, не тратят в меру своей компетенции определить, познать, выработать о них собственное суждение, оценивать их или использовать, такие люди, конечно же, признают, что изобразить переходы к состоянию более просветленному, более свободному и достойному, — а этих переходов, вероятно, существуют тысячи и тысячи, — значит совершить нечто почти невозможное. Об уровне образованности здесь и речи нет, разве что о блужданиях, о путаных и окольных путях, а затем о нежданном и живительном прыжке к высшей культуре.

Но кто же, в итоге, может сказать, что в науке он вечно вращается в высшей сфере сознания, в сфере, где внешнее следует воспринимать с величайшей осмотрительностью, наблюдать с пристальным и спокойным вниманием, где даже собственным чувствам можно разрешить господство лишь с разумной осторожностью и скромностью, в многотерпеливой надежде на истинно чистое, гармоническое мировоззрение. Разве мир, окружающий нас, разве мы сами не омрачали себе иные мгновения жизни? Но благочестивые упования нам все же дозволено пестовать, и еще нам дозволена попытка с любовью приближаться к недостижимому.

То, что нам удалось воссоздать, мы предлагаем нашим издавна почитаемым друзьям, а заодно и немецкой молодежи, стремящейся к добру и справедливости.

И дай нам бог из числа этой молодежи завоевать и привлечь новых соучастников и будущих союзников.

Комментарии

Под этим заглавием Гете напечатал в 1817 г. в своем журнале «Zur Naturwissenschaft überhaupt, besonders zur Morphologie» («К вопросам естествознания и к морфологии преимущественно») свой разговор с Шиллером, имевший место в 1794 г. в Йене после заседания Общества естествоиспытателей. Это историческое свидание обоих поэтов положило начало их сближению и тесному литературному сотрудничеству, продолжавшемуся до смерти Шиллера (9 мая 1805 г.).

Особую роль для заключения прочной дружбы между Шиллером и Гете сыграло письмо Шиллера от 23 августа 1794 г. Вот его текст:

«Йена, 23 августа 1794 г.

Вчера до меня дошло приятное известие, что Вы вернулись из путешествия. У нас, следовательно, есть надежды, что мы, может быть, скоро увидим Вас у себя, чего я, со своей стороны, искренне желаю. Последние беседы о Вас всколыхнули во мне всю массу моих идей, потому что коснулись предмета, который живо занимал меня уже несколько лет. На многое, что я не мог привести в согласие с самим собой, интуиция Вашего духа (ибо так должен я назвать совокупное впечатление, вынесенное мною от Ваших идей) пролила неожиданный свет. Мне не хватало объекта, тела для некоторых умозрительных идей, и Вы навели меня на его след. Ваш наблюдающий взор, который так безмятежно и чисто покоится на вещах, не подвергается опасности сбиться с пути, что столь легко как для умозрения, так и для произвольного и только самому себе повинующегося воображения; в Вашей правильной интуиции заключается все, — и притом гораздо полнее, — чего с таким трудом домогается анализ; и только оттого, что оно заключается в Вас как целое, от Вас сокрыты Ваши собственные богатства; ибо, к сожалению, мы узнаем только то, что расчлняем. Поэтому дух, подобный Вашему, редко знает, как глубоко он проник и как мало причин у него заимствовать у философии, которая может учиться только у него. Она в состоянии лишь расчлнять то, что ей дано, но давать — это дело не аналитика, а гения, который под непонятным, но верным влиянием чистого разума устанавливает связи, следуя объективным законам.

Давно уже, — хотя и издали, — следил я за продвижением Вашего духа и с неослабевающим вниманием присматривался к тому пути, который Вы себе предначертали. Вы ищете необходимое в природе, но Вы ищете его, идя самым трудным путем, на который остережется вступить человек с более слабыми силами. Вы берете всю природу в совокупности, чтобы пролить свет на единичное: во всевременности способов и проявления Вы отыскиваете основание для объяснения индивидуального. Шаг за шагом восходите Вы от простой организации к все более сложной, чтобы, наконец, сложнейшую из них — человека генетически построить из материалов цельного здания природы. Благодаря тому, что Вы, следуя природе, как бы воссоздаете его, Вы пытаетесь проникнуть в его сокровенную суть. — Великая и поистине героическая идея, которая в достаточной мере показывает, в каком прекрасном единстве объемлет Ваш дух богатое целое своих представлений. Вы не можете, разумеется, надеяться на то, что Вашей жизни хватит на достижение этой цели, но уже хотя бы вступить на такой путь — ценнее, чем закончить всякий другой, и Вы выбрали, как Ахилл в «Илиаде», между Фтией и бессмертием. Если бы Вы родились греком, — пусть даже только итальянцем, — и были бы с самой колыбели окружены прекрасной природой и идеализирующим искусством, Ваш путь несомненно сократился бы, может быть, стал бы вовсе излишним. Тогда уже в первое восприятие вещей Вы выбрали бы форму необходимого, а вмесите с первым Вашим опытом в Вас развился бы и большой стиль. Но вот, так как Вы родились немцем, так как Ваш греческий дух был ввергнут в этот северный мир, Вам не оставалось иного выбора, как или самому сделаться северным художником, или при содействии способности мышления возместить своему воображению то, что отнимается у него действительностью, и таким образом как бы изнутри, рациональным путем, породить Грецию. В ту эпоху нашей жизни, в которую душа для себя образует из внешнего мира свой внутренний мир, Вы, окруженный ущербными образами, уже впитали в себя дику северную природу, когда Ваш всепобеждающий, господствующий над своим материалом гений изнутри открыл этот недостаток и извне удостоверился в этом благодаря знакомству с греческой природой. Теперь Вы должны были старую, уже навязанную Вашему воображению, худшую природу корректировать, следуя лучшему образцу, который создал себе Ваш

творящий дух, а это, конечно, можно было достигнуть, только следуя руководящим понятиям. Но это логическое направление, которому дух вынужден следовать при рефлексии, нехорошо уживается с эстетическим, благодаря которому он только и созидает. Таким образом, перед Вами новая работа: ибо точно так же, как Вы переходили от созерцания к абстракции, Вы должны теперь обратно превратить понятия в интуицию и преобразить мысли в чувства, ибо гений может творить, лишь обращаясь к чувству.

Так, приблизительно, сужу я о шестви Вашего духа, и прав ли я, лучше всего известно Вам самому. Но едва ли Вам может быть известна (ибо гений всегда остается величайшей тайной для себя самого) прекрасная гармония Вашего философского инстинкта с чистейшими результатами умозрительного разума. На первый взгляд, правда, кажется, будто не может быть противоположностей больших, чем умозрительный дух, исходящий из многообразия. Но если первый, пользуясь чистыми и верными данными чувственного восприятия, ищет опыта, а второй, пользуясь самостоятельным свободным мышлением, ищет закона, то отнюдь не исключено, что они встретятся друг с другом на полпути. Правда, интуитивный дух имеет дело только с индивидуальным, а спекулятивный — только с родовым. Но если интуитивный дух гениален и открывает в эмпирическом характере необходимости, он породит, правда, всегда индивидуальное, но наделенное характером; если же гениален дух умозрительный и, поднимаясь над опытом, все же его не утрачивает, он породит, правда, всегда только родовое, но жизнеспособное и основательно относящееся к действительным объектам.

Но я замечаю, что вместо письма собираюсь написать диссертацию... Это благодаря тому живому интересу, которым меня преисполняет эта тема; и если Вы не узнаете в этом зеркале своего образа, я очень Вас прошу — из-за этого не отворачивайтесь от него...»

«Ардингелло» Гейнзе. — См. коммент. к «Кампании во Франции 1792 года».

Мейер Генрих, Мориц Карл Филипп, Тишбейн Вильгельм. — См. коммент. к «Итальянскому путешествию».

Дальберг Карл Теодор, барон (1744–1817) — курфюрст Майнцкий, князь-примас Рейнского союза при Наполеоне, друг Гете и Шиллера.

Шиллер переехал в Йену в мае 1789 г. в качестве экстраординарного профессора истории. Батш Август Иоганн (1761–1802) — профессор естествознания и медицины в Йене.

Журнал «Ора» стал выходить с января 1795 г.

Н. Вильмонт